

Как нас учили на филологическом факультете Уральского государственного университета им. А. М. Горького

М. М. Иванов

Учили нас неплохо. Так я думал тогда. Так же думаю и сейчас, особенно когда имею представление о том, как учили тогда в других вузах и как учат нынче.

Став преподавателем, я всегда говорю студентам, что высшее образование не дают, а получают: у вас могут быть какие угодно преподаватели, вам может что-то не нравиться (чтобы всё нравилось — так не бывает!), но это не может быть оправданием вашей необразованности, ибо библиотека открыта и ходить туда вам никто не мешает. Нам не мешали, а даже помогали. И все же учился я сам, а потому определенная фрагментарность неизбежна. Но мне кажется, что это нормально и именно так и должно быть. Как говорил своим студентам М. Л. Гаспаров: «Университет — это пять лет самообразования на государственный счет, с некоторыми помехами, вроде посещения лекций, но преодолимыми»¹

Большинство моих однокурсников шли на романо-германское отделение исключительно за знанием языка. Я всегда понимал, что этого недостаточно и что простое владение иностранным языком не есть высшее образование, но языки знать все же надо, поэтому лучше с языками, чем без них. Так думал я в свои 17 лет и выбрал РГФ.

Языковая подготовка на романо-германском отделении состояла из двух компонентов — практической и теоретической. На первом курсе теоретических дисциплин нет, студенты постигают практические навыки. Первые шесть недель — вводно-фонетический курс: 8 пар в неделю почти одной фонетики. Затем языковая подготовка дифференцируется, начинаются самостоятельные дисциплины, за которые отвечают разные преподаватели: практика устной речи, литературное чтение, практическая фонетика, практическая грамматика и письмо.

На первом курсе устную речь вела ассистент А., работавшая честно, но без «полета» и хотя бы минимального расположения к студентам. Мы много учили наизусть, темы казались нам неинтересными, и никакого человеческого контакта у нас с преподавателем так и не возникло. А вот литературное чтение и практическую фонетику вела ассистент П., очень многое давшая в плане практического освоения языка. Система была довольно суровая: если на паре студент не говорил или говорил, как ей казалось,

¹Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛЮ, 2012. С. 86.

мало, считалось, что на занятии он не был и должен был его отработать, т.е. на консультации полностью пересказать отрывок, ответить на все прилагавшиеся к нему вопросы, написать диктант. Консультации эти никто не оплачивал, мы это знали и ценили, ибо «закручивание гаек» давало ощутимый результат. Она буквально заставила нас заговорить на языке. Сам став преподавателем, я услышал от нее неожиданное признание: «У вас была прекрасная группа, я была готова сама доплачивать, просто чтобы с вами работать». Во время учебы мы даже подумать не могли, что преподаватели о нас так думают. Каждый второй называл нас едва ли не худшей группой за все годы существования отделения, и мы, видимо, предполагая, что это правда, стремились стать лучше. Оказалось, что нам нагло врал. Но стоит признать, что своего результата это педагогическое вранье достигало.

Самым суровым был курс практической грамматики. Его все четыре семестра вела ассистент Г. — хороший переводчик и методист, рассказы о ней мы слышали задолго до поступления. Выше четверки за контрольные по грамматике не получал, кажется, никто. Чаше случались двойки. Неудача на зачете грозила колоссальными мытарствами: студент должен был испросить дополнительное задание в виде нескольких упражнений на перевод (все упражнения давались по ядреным советским учебникам, включавшим и такие грамматические явления, которых не помнят сами носители языка); после того, как упражнения были сделаны, надлежало явиться к ней на консультацию и объяснять каждое предложение; если ответ ее удовлетворял, студент допускался до пересдачи зачета, если же нет — в ход шел другой учебник и новая порция предложений. На практике у некоторых несчастных пересдача превращалась в многомесячную эпопею. Помимо пар, приходилось довольно много читать: во-первых, литературное чтение две пары в неделю, во-вторых, так называемые «экстенсивы» — еженедельная сдача 30 (на последующих курсах — 50) страниц художественного текста в виде пересказа и списка выписанных и выученных наизусть слов и выражений. И это все четыре года бакалавриата.

Наиболее сложными неязыковыми дисциплинами на первом курсе были античная литература и латынь. Латынь в разных группах вели разные преподаватели. По существующей традиции кафедры общего языкознания, каждый ее сотрудник должен был хотя бы семестр вести латынь, так что недостатка в кадрах не было (как нет и сейчас). В годы моего ученичества даже была возможность продолжить изучение латыни на специальных бесплатных курсах — еще три года с изучением истории латинского языка, чтением всех классических и некоторых средневековых авторов, — после чего сдать экзамен и получить свидетельство преподавателя латинского языка. В известном смысле, эта программа была попыткой хотя бы частично реализовать в Екатеринбурге подготовку филологов-классиков. За это отвечала доцент Людмила Васильевна Доровских, выпускница классического отделения филфака Томского университета, известная своей требовательностью далеко за пределами УрГУ. Она была автором базового учебника и даже специально написанного для студентов учебного словаря. Сдать ей

латынь на пять было почти невозможно. Даже просто сдать было трудно. Моей группе повезло больше. У нас латынь вела доцент И., строгая, неэмоциональная, но все же гораздо мягче легендарной Людмилы Васильевны. Набор древнеримских пыток был вполне традиционным: мы читали Катулла, Горация и Цицерона, учили наизусть «*Exegi monumentum. . .*» и первую речь против Катилины, сдавали латинские изречения и делали грамматические разборы. Вообще, латинисты производили на нас впечатление людей сухих, суровых, ставивших выше всего дисциплину, логику, точность и пытавшихся привить все это нам.

Античную литературу нам читала старший преподаватель кафедры фольклора и древней литературы Л. Содержание тех лекций помню с трудом — во-первых, время, во-вторых, больше всего в ее лекциях привлекала (или отвлекала?) интонация. Прекрасный специалист, ученица и друг семьи А. Ф. Loseva и А. А. Тахо-Годи, она, читая лекцию, буквально выворачивала русскую просодию наизнанку, и нам, молодым первокурсникам, казалось, что, наверное, именно так звучал когда-то язык Гомера. Осознание близости к грекам, конечно, будоражило, но уху было не так просто приспособиться и научиться членить звуковой поток на слова (аудитории были большими, и озвучивать их было трудно), так что по большей части приходилось концентрироваться на распознавании речи. И, конечно, на чтении текстов, ибо их список был довольно велик. Семинары вела всегда доброжелательная доцент (ныне профессор) П., прекрасно знавшая материал, искренне пытавшаяся заинтересовать нас им, но, увы, напрасно.

Историю зарубежной литературы Средних веков и Возрождения нам читала доцент (ныне профессор) Т-р. И содержательно, и методически это была, пожалуй, лучшая часть курса зарубежной литературы за все годы обучения: лекции были действительно оригинальными, материал излагался стройно, логично, языком, вполне доступным первокурснику, концептуальные идеи почти всегда структурировались и облекались в форму таблицы или схемы, что очень облегчало понимание. Список для чтения нам казался огромным — прочитывать в нем всё было невозможно, а контрольные работы были прежде всего нацелены на выявление знания текстов — как мы потом поняли, этот принцип (проверять главным образом знакомство с содержанием произведения) был сознательным методическим выбором кафедры зарубежной литературы и выдерживался на всех курсах. Со временем почти все студенты научаются «адаптироваться» к этой системе (для этого совсем не нужно читать всё), но фактологический перекос, к сожалению, убивает всякую тягу к познанию содержательных и в интеллектуальном отношении более сложных и нужных вещей. Этот «минус» мы отчетливо поймем к третьему курсу, когда чтение текстов из списка обязательных произведений окончательно превратится в формальный ритуал по очистке совести без какой бы то ни было попытки углубиться в текст. Главное — знать имена и детали сюжета. В курсе средневековой литературы этот недостаток ощущался еще не так сильно: во-первых, мы были еще не так опыты в вопросах преодоления расставляемых преподавателями трудностей и старались все делать на совесть; во-вторых, все вели цитатники, куда можно было делать

выписки с экспликацией сюжетных перипетий; в-третьих, помимо художественных произведений, мы обязаны были конспектировать научные тексты (фрагменты из работ Бахтина, Пинского, Аникста, Хёйзинги), что придавало процессу содержательности.

Совершенно провальным оказался курс древнерусской литературы, который на романо-германском отделении включал также материал по истории русской литературы XVII–XVIII вв. Вел курс доцент Л., о знаниях которого нам так и не удалось составить никакого мнения, ибо вместо лекций он предлагал нам собрание шуток, баек, прибауток, лирических отступлений и т.п., что, впрочем, не помешало ему принимать зачет по всей строгости, так, будто лекции у нас и вправду были.

Литературоведческие дисциплины первого курса включали также «Введение в литературоведение» в исполнении немолодого профессора В., который запомнился главным образом тем, что не только не пытался интересно рассказывать, но, кажется, сам давно устал от того, что говорил. В целом, это было не лучшее введение в теоретическое литературоведение в том виде, в котором его, наверное, могли бы читать в середине 1980-х гг. Кроме того, не в пользу профессионализма преподавателя говорило его чрезмерное внимание к девушкам — кажется, на это уходила вся его энергия. Глубокое декольте на экзамене решало почти любую проблему.

Введение в языкознание было несколько неполным (до морфологии и синтаксиса мы так и не дошли, кафедра общего языкознания по традиции «перетягивала одеяло на себя», т.е. на те темы, которыми занимаются ее сотрудники: фонетика, диалектология, историческое языкознание) и, я бы сказал, простоватым, впрочем, свою пропедевтическую функцию курс все же выполнял. Помимо него, нам также читался современный русский язык, который, как потом выяснилось, был единственной возможностью узнать хоть что-то из области лексической семантики и теоретического синтаксиса. Семантика подавалась в традициях уральской семантической школы (мы читали не лучший учебник Э. В. Кузнецовой — основателя школы), синтаксис — в духе АГ-80 и трудов Г. А. Золотовой. В теоретическом отношении этот укороченный двухсеместровый курс был не самым современным, но вполне традиционным и добротным. Кроме того, нам повело с преподавателями: и лекции, и семинары велись хорошо, за исключением, возможно, харизматичного профессора К., которого на лекциях по лексикологии иногда заносило, и он, в порыве неудержимого желания покрасоваться перед студентками, мог рассказать какой-нибудь матерный анекдот.

Основное воспоминание от первого курса — физиологическое: нам постоянно хотелось спать. Казалось, что мы не успеваем ничего. Режим учебы, при котором у тебя каждый день контрольная, вынуждал крутиться, как белка в колесе. Времени для рефлексии не было совсем. В таких условиях человек был вынужден становиться либо «пофигистом», либо невротиком. Впрочем, отличники были как среди первых, так и среди вторых. Тогдашний РГФ вынуждал человека адаптироваться к новым для него весьма жестким условиям. Кто не смог — отчислился (в моей группе из 18 человек до второго курса дошли только 10). В этом отношении «романо-германцы»

резко отличались от студентов русского отделения, чья студенческая жизнь текла размеренно и неторопливо. Позволить себе неделями не появляться на занятиях мы не могли. С другой стороны, на русском отделении существовала вполне сносная лингвистическая наука, тогда как на романо-германском ее просто не было. Это со всей очевидностью проявилось на втором курсе, когда у нас начались лингвистические дисциплины по французскому языку. Курс СРЯ, каким бы несовременным он ни был, на их фоне казался вершиной теоретической мысли.

Сейчас я знаю, что на романо-германских отделениях и факультетах иностранных языков в нашей стране теоретические курсы основного языка обычно принимают форму пересказа учебника. Порой снисходительного, порой некомпетентного. В обоих случаях преподаватель исходит из априорной ненужности теоретического знания вообще (во втором случае — ненужности и для себя тоже). Филфак УрГУ не был исключением.

Введение в романскую филологию и историю французского языка нам читал снисходительный и педантичный профессор Т. — в то время единственный квалифицированный ученый на кафедре романо-германского языкознания. Несмотря на то, что Т. был действительно хорошим специалистом, автором монографий и учебников, курс оказался bestолковым. Кажется, каждую пару он записывал на доске перечень романских языков и рисовал карты, на которых страны изображались почему-то в виде аккуратных квадратов и прямоугольников. Профессор Т. много и хорошо шутил (его максимы мы собирали и составили потом даже небольшой сборник), но ничему не научил — ни азам сравнительного языкознания, ни общей истории романских языков. Примерно так же выглядел и курс истории французского языка в его же исполнении. Мы знали наизусть старофранцузские тексты, учили старофранцузские парадигмы спряжений и склонений, но механизмов эволюции языка не понимали совсем. Впрочем, этого, кажется, и не требовалось. Теоретических знаний не требовали и на теорфонетике, которая на деле оказалась продолжением практического курса: если не считать двух лекций о теории фонемы, на занятиях по теорфонетике мы продолжали петь песни, декламировать прозу и заниматься интонированием.

Литературоведческая составляющая на втором курсе включала продолжение курсов истории зарубежной и русской литературы. Нужно сказать, что преподаватели русского отделения довольно пренебрежительно и снисходительно относились к студентам РГФ. Установка была такая: на РГФ молодежь идет только за языком, это недалёковидные, неглубокие ребята, не способные в полной мере проникнуться величием Пушкина и Толстого. Мы же воспринимали русскую литературу как нечто рудиментарное и ненужное, отчего на зачетах случались разные казусы, ибо наши преподаватели, естественно, мысленно отводили своему курсу совсем иное место. Первую половину XIX века нам читала профессор С., склонная к монотонному философствованию, часто излишнему, но все же хороший специалист, и курс получился хоть и скучноватым, но не bestолковым. Вторую половину XIX века вела уже не работающая (слава богу!) на факультете профессор Щ., преданная жена тогдашнего заведующего кафедрой русской литерату-

ры, самозабвенно пересказывавшая учебник мужа и требовавшая сдавать ей наизусть стихотворения поэтов-шестидесятников, которым была посвящена ее докторская. В целом, она была бы неплохой школьной учительницей, никакого уважения в студенческой среде за все годы работы она так и не снискала.

Историю зарубежной литературы XVII–XVIII вв., а затем и романтизм нам читал эрудированный доцент Ч. Эрудиции он требовал и от нас. Контрольные включали вопросы на знание таких деталей, что, казалось, успешно написать их не было никакой возможности. Став его коллегой, я узнал, что доцент Ч. хранит у себя все контрольные в течение нескольких лет, чтобы в случае необходимости иметь возможность сличить почерк. Одним словом, не забалуешь. Надо сказать, что его курсы были насыщенными и вполне содержательными, он умел развлечь какими-нибудь биографическими деталями и в то же время вполне увлеченно рассказывать об эстетике того или иного автора. Кроме того, поражало его знание текстов — умение, вкус к которому мне так и не удалось в себе воспитать. Но это уже моя проблема.

Помимо историко-литературных дисциплин на втором курсе нам давали «просеминарий» (слово, значение которого я до сих пор плохо понимаю²) по анализу художественного текста. Вела его доцент Н. с кафедры зарубежной литературы. В сущности, это были занятия, на которых нас учили работать с текстом: анализировать пространство и время, систему персонажей, стиль и проч. Не могу сказать, что функцию свою этот курс выполнял, потому что значительная его часть проходила в форме докладов, а большинство студентов либо не умели делать доклады, либо темы докладов были им не интересны, одним словом, попытка отдать курс «на аутсорсинг» студентам слишком сильно сказывалась на его качестве. Полезной составляющей курса была работа в библиотеке: нас учили библиографическому поиску, работе с указателями ИНИОНа, правилам оформления библиографической записи и т.п. Получить от библиографа зачет было непросто. Но мне повезло: до этого летом я проходил так называемую «отработку»³ в отделе редкой книги университетской библиотеки, где лично разобрал и завел карточки на почти тысячу дореволюционных томов, так что принципы составления библиографической записи были мне знакомы и эту часть курса я сдал хорошо.

Но самый большой вклад в мое образование на втором курсе внесли не обязательные филологические дисциплины, а курс философии, который нам читала профессор кафедры социальной философии Елена Германовна Трубина. О значении философии для жизни мне рассказывать было не нужно. Еще в абитуриентские годы я подумывал поступать на философский, поскольку, как и многие мои одноклассники, был под впечатле-

²Толковый словарь Ушакова сообщает: «просеминарий — в высших учебных заведениях семинарий для наименее подготовленных». Хм. . .

³«Отработкой» назывались обязательные и совершенно безвозмездные 90 часов работы на университет в качестве «потаскуна-носильника», полотера, члена приемной комиссии и проч.

нием от прекрасной лекции декана философского факультета профессора А. В. Перцева «Философия как веселая наука» (ее и сейчас легко найти в Интернете — правда, читал он ее всякий раз по-разному, что-то опуская, добавляя, адаптируя для молодежи, так что зафиксированный на бумаге текст есть лишь абрис того, что слышали и видели молодые абитуриенты в те годы), из которой становилось ясно, что без философии быть образованным человеком никак нельзя, а кроме того, это познавательно и безумно интересно. Елена Германовна продолжила эту линию. Это был не традиционный курс истории философии (по истории у нас, кажется, был всего один семинар), но скорее курс социальной философии с элементами философии языка. Мы читали Гегеля и Маркса, Фрейда и Фромма, Вебера и Бурдье, Бергера и Лукмана, Барта и Витгенштейна... Список был длинный и, что важно, интересный, хотя если спросить меня сейчас, по какому принципу он был составлен, ответить я не сумею. В нем не было хронологической или идеологической логики. Думаю, в основе лежало то, что можно назвать интеллектуальным вкусом — как я сейчас понимаю, именно его она и стремилась нам привить. До сих пор помню смешной диалог в очереди в библиотеке: «Привет! За чем стоите?» — «За “Смертью”!» — «Эмпедокла?» — «Нет, Янкелевича». Работа Владимира Янкелевича «Смерть» тоже была обязательной. Этот курс не был ни сухим, ни догматическим. Постоянно ездившая на конференции и стажировки в США Елена Германовна стремилась сделать его, как сказали бы лет сорок назад, «прогрессивным». Она на каждой паре показывала нам, что философия — это не что-то отвлеченное, наоборот, это про нас, про каждого из нас, про нашу жизнь, про то, что мы чувствуем, что мы думаем, что и чем говорим, одним словом, про то, что мы есть. И это даже не нужно было как-то специально объяснять. Впрочем, помимо профессора Трубиной в периоды ее отсутствия лекции нам читала едва ли не вся мужская половина кафедры социальной философии, а кафедра была мощной, так что и за ее периодические отъезды мы ей тоже благодарны.

Еще одним открытием второго курса стало понимание того, насколько важную роль в моем интеллектуальном становлении играло написание курсовой работы. Кафедра романо-германского языкознания страдала хронической научной импотенцией: здесь были тривиальные учебные темы и процветала крупная научная школа по изучению газетных заголовков⁴, работы не рецензировались, и общий уровень как студенческих опусов, так и научной квалификации руководителей не дотягивал даже до «ниже среднего». Студентам РГФ разве что кафедра зарубежной литературы давала понять, что помимо излагаемого на лекциях материала существует еще и наука и что в науке этой есть если не большие белые пятна, то, по крайней мере, возможность сделать что-то интересное, самостоятельное и содержательное. Кроме того, там были преподаватели со степенями и собственным исследовательским опытом. Писать по зарубежке было в те годы престижно,

⁴Это не шутка: после изучения английских заимствований в чем угодно и где угодно наиболее популярными были темы из серии «что-нибудь в газетных заголовках». По сию пору удивляюсь, как удавалось изобретать все новые и новые темы про заголовки!

на кафедру шли лучшие студенты, и это положительно сказывалась на общем уровне работ. После второго курса я окончательно понял, что любой список обязательной литературы и необходимость выучить имена героев и уложить в своей голове десятки сюжетов не дадут мне того, что может дать чтение научной (прежде всего — теоретической) литературы по теме курсовой. Это осознание во многом определило мои приоритеты на будущее.

На третьем курсе профессор Т. дочитал нам историю языка и приступил к чтению трехсеместрового курса теоретической грамматики, который, в отличие от более-менее самостоятельного предыдущего курса, был простым пересказом ненового, но хорошего учебника В. Г. Гака. Учебник у нас был, объяснять материал преподаватель не стремился, так что большого смысла в лекциях мы не видели. Впрочем, профессор Т. очень уж хорошо шутил, а экзамен за все три семестра и два тома учебника предполагался серьезный, поэтому мы честно ходили. Помимо теорграмматики нас ждал курс лексикологии, который вела ассистент А., совершенно ничего не понимавшая в лексикологии. На лекции нам зачитывался написанный на французском языке старинный учебник, который мы под диктовку переписывали в свои тетради, к семинарам мы должны были переписывать словарные статьи из словаря от руки (распечатка из электронного словаря не принималась), а на все наши вопросы она отвечала: «Это надо спросить у лингвистов». Примерно так же через год выглядел курс стилистики, его вела молодая ассистент К., сама недавняя выпускница, диктовавшая нам лекции по собственному студенческому конспекту. Лекции были неплохие, очень полные, составленные кем-то (не ею!) по разным источникам и, по всей видимости, дошедшие до нас через чей-то еще конспект. Смушала не столько необходимость воспроизведения в своей тетради этого палимпсеста, сколько бессмысленность теоретического курса стилистики как такового: при полном отсутствии у студентов навыков стилистического варьирования в письменной и устной речи тратить по две пары на перечисление признаков научного стиля казалось нам неуместным. Стилистикой заканчивался цикл теоретических дисциплин по основному языку, так что можно смело говорить, что теорию основного языка мы знали плохо.

Много лучше дело обстояло с практикой. К третьему курсу мы уже относительно свободно говорили, темы были существенно интереснее, тексты сложнее. Кроме того, начался курс перевода. Теорию перевода, правда, нам читала доцент В/С (мы знали ее под двумя фамилиями, одна из них была фамилией ее предыдущего мужа, другая — нынешнего, кто-то даже знал ее девичью фамилию, но за давностью лет я ее не помню). Доцент В/С была женщиной лет тридцати пяти-сорока в цветных очках, девичьих лосинах, с косичками на голове и странными пристрастиями в виде учебника Комиссарова и кельтской музыки. При всей бессмысленности ее курса (да и всей теории перевода) она не сумела его даже достойно завершить. Придя на зачет, она посадила первые шесть человек готовиться и ушла. Ее не было три часа, как потом выяснилось, в это время она ходила за покупками. Вместо того, чтобы встать и пойти, мы (а в коридоре остались еще по меньше мере

25 человек) честно ее ждали в надежде на «автомат», который бы искупил ее шопинг-тур. Но «автомата» не случилось, и с зачета мы вышли в девятом часу вечера. Практику перевода вела наш грамматист ассистент Г. Курс длился четыре или пять семестров, и я до сих пор считаю его одной из самых важных практических дисциплин. Во-первых, в курсе перевода становится совершенно ясно, что язык — это набор клише, готовых кубиков, жонглируя которыми, мы и строим речь. Во-вторых, студент впервые сталкивается с необходимостью много писать на языке и наконец понимает, как устроен письменный текст как законченное высказывание. В-третьих, студент вдруг обнаруживает, что для того, чтобы переводить, нужно знать родной язык, а родной язык студент скорее всего не знает или знает плохо — обнаружение этого факта становится первым шагом к тому, чтобы добрать знания по стилистике русского языка. Наконец, студент учится, как сказали бы современные студенты, «не тупить», соображать быстро, говорить внятно и недвусмысленно. На домашнее задание по переводу каждую неделю я тратил от шести до восьми часов — и нисколько не жалею об этом.

Где-то же в это время начался второй иностранный язык — английский. Там нас ждала чехарда с преподавателями и методикой, ибо у каждого она была своя. Только к 4 курсу ситуация выровнялась и приняла какую-то внятную форму. К сожалению, к этому времени мы по большей части либо научились учить английский сами, либо научились, хоть и посещая занятия, его игнорировать.

По истории зарубежной литературы нам предстояло весь год изучать XIX век, сначала реализм, потом рубеж веков и модернизм. С преподавателями нам повезло. Первую часть читала доцент Т-р., она же до этого читала Средние века и Возрождение: курс был методически продуман, лекции внятные, нескучные, хватало и контекста, и деталей. Единственное, что очень огорчало — список для обязательного чтения. Реализм — время толстых романов, и к этому мы морально были не совсем готовы. Вторую часть читал доцент М., один из умнейших литературоведов филфака. Аскет и педант, он выстраивал текст лекции как сложный письменный опус, оттачивал формулировки и композицию, тщательно расставлял акценты и контрапункты. Зачитывал он все лекции по бумажке, что, правда, «осушало» нашу коммуникацию и несколько осложняло восприятие, требовал абсолютной тишины и строжайшей дисциплины, но произносимые им тексты того стоили. Его лекцию по Ницше я до сих пор считаю одним из самых глубоких и интересных текстов, с которыми я познакомился в университете.

По русской литературе мы к этому времени подобрались к XX веку. Первую его часть, рубеж веков, нам должен был читать Олег Пресняков, один из братьев Пресняковых, тогда — доцент кафедры русской литературы XX века. К тому моменту драматургия братьев Пресняковых уже стала очень популярна, и перед началом учебного года он уволился из университета. Вместо него лекции нам читала покойная ныне профессор Х., пожилая дама, но именно *дама*. Она шла по коридору высоко подняв голову, говорила громко, четко и ясно, имела вид строгий, но доброжелательный. Боюсь, ее лекции не были очень содержательными, но риторически это бы-

ли шедевры. Лекцию она читала так, что мы старались записать буквально каждое предложение, притом, что понимали, что предложения эти — просто риторические экзерсисы и на зачет придется читать что-то еще. И все же говорила она таким поставленным голосом, так точно и уверенно, что тебя словно гвоздями приколачивало к парте и рука сама собой начинала писать. Она говорила не останавливаясь ровно то время, которое длилась пара, последние слова она произносила уже у выхода, после чего дверь шумно захлопывалась и студенты оставалась с недоуменный вопросом на лицах: «Что это было?». Вообще говоря, к четвертому курсу студент обычно уже научается работать с информацией, понимать, что записывать, а что нет, что запоминать, а что не стоит, умеет сам по книжкам и чужим конспектам готовиться к зачетам и экзаменам, так что роль личности преподавателя в учебном процессе заметно снижается. И все же когда встречались Личности с большой буквы, обаяние их человеческого таланта невозможно было заглушить ничем.

Основную часть истории русской литературы XX века читала воздушная доцент (ныне — профессор) М-в. Она была очень увлечена тем, что говорила, и хотя понимала, что за семестр не сможет нам толком рассказать обо всем, искренне старалась это сделать. Экзамен, оценка за который была оценкой за весь курс русской литературы, она принимала достаточно лояльно, понимая, что для нас эта дисциплина была, в сущности, маргинальной.

Тогда же на третьем году обучения у нас начались спецкурсы и элективные дисциплины. Последовательность их я не помню, поэтому просто перечислю. В то время во французской группе читался спецкурс по французской комедии XVII–XVIII веков, вел его все тот же доцент М., курс был не слишком интересным, во многом потому, что значительную часть его составляли студенческие доклады. Нам также предлагали выбрать между культурологией и лингвокультурологией — выбор, который мне и сегодня кажется странным (было бы логичнее читать лингвокультурологию после культурологии), я выбрал лингвокультурологию, вела ее доцент Е. с кафедры стилистики и риторики русского языка, вела хорошо и интересно. Также был выбор между курсом «Философия и литература» в исполнении профессора С., которая до этого читала нам русскую литературу первой половины XIX века, и исторической поэтикой, которую вел М. — я выбрал второе. Хотя курс был простым пересказом учебника С. Н. Бройтмана, это было много лучше, чем предложенный С. просмотр странного фильма, в котором Бертран Рассел гонялся за зелеными человечками, с последующей просьбой написать эссе о том, как этот фильм помог понять суть логического атомизма (авторские спецкурсы, как стало окончательно понятно в магистратуре, удавались С. много хуже нормативных историко-литературных).

На четвертом курсе предлагался и еще один «непростой» выбор: между социолингвистикой и историей зарубежного литературоведения XIX–XX вв. Социолингвистику читал доцент Ш., хороший специалист, но страшный зануда, могущий часами обсуждать какую-нибудь деталь или причины логического сбоя в какой-нибудь классификации. Я выбрал историю

литературоведения, которую читала все та же доцент Т-р. Курс полезный и хорошо построенный, во многом эта дисциплина углубляла наше представление о методологических возможностях литературоведения и компенсировала то, что происходило у нас в курсе теории литературы.

Теорию литературы читала очень пожилая профессор Э. Возраст ее уже тогда был таков, что сам факт ее появления в аудитории вызывал у студентов одновременно восхищение и сострадание. Из лекций профессора Э. решительно невозможно было понять, чем структурализм отличается от психоанализа, а Бахтин — от Флоренского. Говорила она медленно, но красиво, путая, впрочем, имена и дела порой странные умозаключения, в том числе по вопросам, которые не имели никакого отношения к рассматриваемому предмету (чего стоит только утверждение, что слово *визионер* происходит от слова *визирь*, объяснялась эта этимология так: «визирь в шатре сидит, и его не видно»). Незадолго до этого у нее случился очередной юбилей, и факультет издал сборник статей, распространять который предложили сотрудникам кафедры, чтобы как-то компенсировать факультетские затраты. Никогда не забуду, как она принесла стопку сборников на экзамен, попросила полистать и, если кому-то понравится, купить. Многим отказаться было трудно. Экзамен этот запомнился еще и другим: впервые в жизни мне казалось, что я «заваливаю» преподавателя. За это чувство до сих пор неловко.

Подходил к концу курс истории зарубежной литературы. Основную часть литературы XX века нам читала душевнейшая доцент М. Курс этот я помню совсем плохо, ибо отсутствие требовательности со стороны преподавателя меня чрезвычайно расслабляло. Вместо экзамена можно было написать проблемное эссе по собственнлично предложенной преподавателю теме. Именно так — по эссе — получил и я свою «пятерку». Примерно тогда же теоретические лингвистические дисциплины завершались курсом истории лингвистических учений в исполнении доцента (ныне профессора) К., курс был добротным, подробным, с выходом в широкий исторический и философский контекст, но оборвался на 1950-х годах, несколько не дотянув до современной лингвистики. Видимо, считалось, что мы ее и так знаем, что едва ли было правдой. На романо-германском отделении в те годы литературоведческие дисциплины читались много лучше лингвистических, лингвистические же, по старой и недоброй традиции РГФов и инязов, читались, как придется, поскольку даже в головах многих преподавателей числились по ведомству второстепенных, а то и вовсе ненужных.

И все же, окончив филфак пусть и неплохого, но провинциального университета, я не очень-то жалею о сделанном выборе. Нам не читали трансформационную грамматику, нейролингвистику, нарратологию и много других современных и модных в научном плане вещей, хотя и кондового марксизма, еще кое-где встречающегося на гуманитарных факультетах провинциальных вузов, у нас тоже не было. У нас были разные преподаватели, и хорошие, и плохие, и никакие. Как везде. Хорошим мы благодарны изначально. Но и плохие все же чему-то нас учили: умению заставить себя, понимая, что время — ресурс ограниченный, не ходить на те занятия, кото-

рые не считаешь нужными, и в то же время прочитать никем не заданную книгу, просто потому что ее содержание тебе интересно и отвечает реальной потребности в информации, ценнейшему умению просто понять, в чем именно в данный момент состоит информационный дефицит, и найти способ его ликвидировать. Эти навыки не формировались в каком-то отдельном спецкурсе и, строго говоря, не являются профессиональными. Но я считаю, что именно это «неявное знание» — наиболее ценная, «неубиваемая» часть университетского образования, поскольку именно она обеспечивает получение всех прочих знаний. Проще говоря, нас научили учиться. Значимость негативного опыта в деле такого научения ничуть не меньше, чем значимость опыта позитивного. За навыки интеллектуальной самостоятельности, позволяющие мне сегодня понимать и трансформационную грамматику, и современные работы по нарратологии, и переводить, и преподавать, и редактировать, и учить новые языки, можно быть благодарным.